

стве, выдаваемом за художественную сатиру. В начале 1954-го об авторах, превозносимых критикой за то, что они выводят в своих произведениях, например, отрицательного секретаря обкома; явись завтра критика секретаря крайкома — «и вчерашнее смелое обличение секретаря обкома будет забыто».

Состав сборника «Любите людей» в основном улучшен по сравнению с прежними изданиями Щеглова. Тут и дополненные «Студенческие тетради», и важная рецензия на очень неважный роман О. Черного «Опера Снегина», и суровая статья «Не радуясь, не скорбя (заметки о лирической поэзии)». В примечаниях перечисляются другие публикации Щеглова. А неопубликованные вещи? Известно, что Марк написал много внутренних рецензий. Уцелели ли они? Составитель не сообщает. Особо следует отметить отсутствие даже ссылки на рецензию «Правда жизни», которая была в издании 1971 года, — о повести В. Некрасова «В родном городе». Рецензия М. Щеглова должна была быть оставлена — по важности ее содержания, как и по важности самой книги, вошедшей в советскую литературу. В статье о «Русском лесе» Щеглов упрекнул писателя в том, что ему для окончательного развенчания Грацианского понадобилось связать его в юности с охранкой: «...удалось ли Л. Леонову изобразить обреченность не этого Грацианского-охранника, а того Грацианского — пореволюционного

мещанина, еще совсем не старого по возрасту, усвоившего марксистскую фразеологию и изучившего все уязвимые стороны нашего обихода, позволяющие ему делать карьеру, не считаясь ни с чем больше?»

У В. Некрасова («В родном городе») критик увидел новое решение этого вопроса: «Новизна образа Алексея Чекменя в повести В. Некрасова, по сравнению с его подобиями из других книг, в том, что до сих пор в роли демагога и прохвоста мы встречали, так сказать, замаскированных врагов. Алексей же Чекмень с искренней страстью говорит о своем партийном долге, он, по-видимому, до известной степени честно и храбро воевал. Но «в родном городе», в отношениях с советскими людьми — это жестокий и хитрый пустослов, не знающий другого способа руководства народом, кроме властвования над душами, демагогии и жесткой хватки». Это 1954 год. А в 70-е в «Вечном зове» Анатолия Иванова с нажимом подчеркнута связь отрицательного партработника районного масштаба Полипова с охранкой, связь, протянувшаяся через десятилетия, включая годы Великой Отечественной войны (спишем все наши беды на происки врагов!).

М. Щеглов не только в свое время. Многие сейчас впервые открывают для себя это имя. И нужно, чтобы все существенное из сказанного им получило доступ к современным читателям.

С. КОРМИЛОВ.

Политика и наука

СЛОВА И СМЫСЛЫ

Анатолий Стреляный. Стрельба влет. «Дружба народов», 1988, № 6.

Перелистаем вначале газетную подшивку. Заголовки: «О так называемых «планово-убыточных» предприятиях», «Когда в Новгороде наладится кооперативная торговля?», «В интересах потребителей», фельетон «Как бы чего не вышло»...

Из статьи о бюрократах: «Вырождающуюся породу представляют они. Она, эта порода, нет-нет да и заявит о своем существовании, заявит буржуазным индивидуализмом, чиновничьим произволом, барским рыком, великолепным барским жестом...»

И уж самая яркая примета времени — в выступлении президента АН СССР: «Наша задача теперь — возможно скорее и возможно эффективнее перестроиться».

Все это было напечатано в 1948 году. Год окончательной победы лысенковщины. Год

смерти А. А. Жданова (на снимке — Л. П. Берия в почетном карауле у гроба). Год, когда торжественно отмечалось десятилетие «Краткого курса истории ВКП(б)». В каждой газете непременно здравицы в честь «вождей народов, родного и любимого Великого Сталина». Тягостное время, запечатленное крикливыми, грубыми, серыми словами на пожелтевшей бумаге. Симбиоз безграмотности и лжи — разнузданной и, что самое мерзкое, агрессивной. Лжи, нагло выдающей себя за правду, за всю правду: «По уровню культуры советский народ не только догнал другие страны, кичившиеся своей цивилизацией, но и давно перегнал их...» Призыв к перестройке принадлежал С. И. Вавилову, брату загубленного при участии Лысенко Н. И. Вавилова, — Сергей Ива-

нович каялся в своих заблуждениях и перестраиваться предлагал в полном соответствии с «передовой мичуринской, действительно материалистической» теорией Лысенко.

Видимо, ключевое для нашей нынешней жизни слово попало в речь С. И. Вавилова почти случайно, но от его появления в газете того времени — мороз по коже.

Со словами и сегодня, бывает, творится что-то странное. Не успеваем мы порадоваться вошедшему в обиход долгожданному понятию, как кто-то, устранившись прямого смысла, торопится уведомить: мы-де чересчур поспешно приняли слово таким, какое оно есть, в то время как для нас оно должно означать нечто другое. Революционная перестройка? «Но потому она и называется революционной, что она есть не что иное, как последовательное продолжение славных традиций Октября», — пишет В. Ткаченко ловко подменяя идею о необходимости радикальных перемен благодетельным для застоя «триумфальным шествием». Новое мышление? Оно по мнению А. Проханова, в том, чтобы к ракетам и подводным лодкам «относиться нежно, как к младенцам», ибо «там, в обороне, скопилось лучшее, из чего мы состоим». Социализм? При этом слове до недавнего времени меньше всего думалось о материальном достатке, народовластии, личных правах и свободах — такое представление о социализме патриотически настроенные авторы даже окрестили «леволиберальным», противопоставляя ему «наши социалистические идеалы», сложившиеся понятию на весьма мрачных примерах... Все еще тянутся оттуда, из 1948-го и других лет паутинные нити, иногда просто физически ощущаешь на себе их липкие путы. Знать бы, какими новыми открытиями порадуят нас самочинные толкователи слов лавирующие между нуждой в обновлении закостеневшего языка и заверстанными в сталинскую колонночку догмами. Может быть, демократизация — это когда границы на замке? А плюрализм начинается и кончается там, где один говорит «одобряем и поддерживаем» а другой, совсем напротив, «поддерживаем и одобряем»?..

«Я уже иногда думаю: кому верить? И вообще во что верить?» — восклицает где-то ближе к концу повествования главный герой А. Стреляного Гребенников.

Почти все лица, окружающие Гребенникова, заинтересованы в смысловых подтасовках, в разгуле неправды сами повседневно творят ее. Взять секретаря райкома по пропаганде Неелову, от которой, стояло

ей взобраться на трибуну, «только и слышали: Ленин да Владимир Ильич. Всякий раз под конец это имя-отчество она как-то умудрялась связать с собою, со своей жизнью, сложившейся поистине счастливо, интересно, содержательно будто бы исключительно благодаря Ленину». Или другого секретаря, любительницу веселых пирушек и дорогих украшений Салову, вместе с Нееловой отбирившую для себя на базе лучший хрусталь и фарфор, который затем списывался «на доярок, на ухабистые дороги к ним». Или директора совхоза Виблого — проходимца и вора, сумевшего подкупить областную верхушку... Если бы вещи стали вдруг называться своими именами, эти деятели разом потеряли бы свои кресла и привилегии, а то и оказались бы за решеткой. Показывает А. Стреляный и тех, кто над ними, в обкоме. «Знаток и покровитель всех Саловых — Нееловых области», тучный великан Однокопылов, который при встречах с Гребенниковым (в то время первым секретарем райкома) начинал непривольно рычать — так воспринималось его учащенное дыхание. Многоумный и скользкий второй секретарь Вискребенцев, помеченный особым клеймом: «...в пятьдесят шестом году, учась в Москве в аспирантуре, подписал какое-то коллективное письмо, пришлось потом каяться». Заворз Крутликов, опускающий при разговоре глаза «словно для того, чтобы никто не мог прочитать в них тайное несогласие с тем, что ему приходится произносить»...

С первых страниц читатель проникается доверием и сочувствием к Гребенникову, узнавая в нем «прораба перестройки» (выражение одного из персонажей; как шуточно уточняет сам Гребенников — «прораба до перестройки»), одного из тех, кто сразу и без колебаний, не боясь лишиться головы или запачкаться, собственными руками принялся разгребать мусор застойных лет «Почему вы считаете, что мы неправильно делаем, очищая район от накопившейся грязи?» — напрямик спрашивает он секретаря обкома А областному цензору приехавшему укрощать районную газету, твердо заявляет: «Пора писать правду!» Ставку в работе делает на подбор кадров, опирается на «поддержку низов», прежде всего рабочих... Казалось бы именно наше время открывает перед таким человеком и руководителем неограниченные возможности приложения своих сил.

Откуда же прорвавшееся внезапно отчаяние, чувство поражения?

Конечно, силы пока не равны, потери неизбежны, но едва ли Гребенникова, бойца

по натуре, могли смутить временные неудачи. Да и обстановка все ж таки не та, что сорок или хотя бы десять лет назад: одновременно с откровенной ложью и недомолвками зазвучала наконец прямая человеческая речь, среди старательно подобранных масок и прячущихся глаз нет-нет да и мелькнет открытое живое лицо... Все неустойчиво, все колеблется, тут-то и важно собраться с силами и создать требуемый перевес. Гребенникову ли, штудировавшему основоположников, этого не знать!

Где главная причина поражения Гребенникова — вне его или внутри, в строе мысли, в унаследованных (от 40-х, 30-х, 20-х?) политических целях и средствах? Ответить на этот вопрос необходимо еще и потому, что путь Гребенникова рассматривается многими искренними сторонниками перестройки как магистральная ее дорога. Вот к этому пути, четко обозначенному у А. Стреляного хронологическими вехами, давайте присмотримся повнимательнее.

В начале 80-х мы застаем Гребенникова на посту первого секретаря райкома партии. Инициатива выдвижения молодого (Гребенникову не было еще сорока) работника исходила от тогдашнего первого секретаря обкома Шостака, а по времени совпала с правлением Андропова. Что осталось в памяти из того недолгого периода? Впервые откровенно прозвучавшая мысль о том, что в эпоху «развитого социализма» людям предстоит потуже затянуть пояса. Разоблачения погрязших в коррупции крупных чиновников. Облавы в магазинах, банях, парикмахерских — с тем чтобы народ перестал ходить туда в рабочее время, проверка паспортов на дому... «Гребенникову нравилось, что в войну Андропов был партизаном. Образ молодого строгого партизана часто возникал в его мыслях, прибавлял надежды на скорые перемены. Когда Андропов умер, Гребенников даже заплакал...» Он и позже будет с грустью думать: «Хорошие времена могли начаться!»

При Черненко Гребенников жалуется Шостаку на помехи «в своей работе по наведению порядка и честности». Второй секретарь райкома Салова «на аппаратные совещания не стесняется приходить в золоте и бриллиантах». Вместе с Нееловой они все «что-то проворачивают, кого-то куда-то устраивают, от кого-то отводят какие-то неприятности...».

«Лярвы», — устало вздыхает грузный Шостак. Время от времени вставляет в разговоре с Гребенниковым уточняющие реплики вроде: «Этот двоеженец?.. Та Громако-

ва, что с Однокопыловым балуется?..» Шостак, который, по словам его приближенных, «только при Картере» в сауну начал ходить: «Мы вокруг него голые, а он в черных трусах... Умел держать дистанцию, умел!»

(Кстати, в оценке «монументальной» поступи старого первого секретаря то и дело проскакивают имена американских президентов — Никсона, Форда, Кеннеди... Долго правил Шостак! Для нас, простых смертных, сменялись эпохи Хрущева, Брежнева, Андропова... — для него существовал другой, мирового масштаба отсчет.)

Кто читал «Замок» Ф. Кафки, тот, верно, помнит магический телефон, что появляется в самом начале романа и растет на глазах, вытесняя из поля зрения все другие предметы, пока наконец не становится полным олицетворением канцелярии. Снимаешь трубку — и слышишь на другом конце провода звенящий гул: то ли переговариваются и скрипят перьями бесчисленные чиновники, то ли стонет человечество, этой канцелярией замученное... У Стреляного подобным символом людской обреченности стал мрак в зашторенном кабинете Шостака после организационного Пленума ЦК:

«Шостак вернулся в седьмом часу. Часом раньше по телефону (Гребенников все сидел в орготделе) пришло подтверждение того, что ожидалось со вчерашнего дня: новым Генеральным секретарем избран Горбачев... В кабинете первого было темно — именно так после праздничной приемной воспринимался здесь сумрак уже заканчивавшегося исторического дня. В этом сумраке Гребенников не сразу узнал сидевшего напротив Шостака и не оглянувшегося на вошедших Выскребенцева, второго секретаря обкома. Лицо Василия Ивановича казалось таким печальным и усталым, что Гребенников замер у порога...»

Вскоре Шостак уходит с поста, его место занимает Крутась — тот, кого Шостак когда-то в лицо назвал «машиной по выделке собственной шкуры», добавив: «Я всю жизнь брешу для партии, а ты для себя, это всегда будет видно». Разница действительно есть: Шостак вышел из довоенных комбайнеров, Крутась — из активистов послевоенного комсомола.

Гребенников с прежними своими заботами — к новому начальству, продолжает нескончаемый монолог о партийной совести руководителя: «Если ты получил власть, чтобы служить народу, а начинаешь искать для себя окольные пути, крохоборничаешь, берешь больничный лист, чтобы зайцев бить, как это делает наш Попов, то какой

ты предрик? Рабочему человеку тут все просто и понятно: надо тебя освободить». Крутась ему на это: «С вами тоже все ясно».

Второй секретарь Выскребенцев (которого перемены не затронули) выражается мягче, играет на человеческих струнках: «Эх, Виталий Владимирович, вы действительно чудак!»

Гребенников — с вызовом: тогда и рабочий класс чудак?!

Глухая стена. Не хотят вникать.

С Шостаком, этим сфинксом, он легко находил общий язык, даже научился пользоваться его слабостями. Уверенно рассказывал ему, например, о своем нововведении в районе — передаче по местному радио «Для тех, кто стоит в очереди за водкой». «На весь район они оставили два водочных магазина, начало их работы сдвинули до четырнадцати, и ровно в четырнадцать начиналась эта передача. Репродукторы были установлены так, чтобы пугающие голоса врачей, умоляющие — женщин, жалующиеся — детей звучали прямо над очередью и чтобы до репродуктора нельзя было дотянуться».

Шостак, как и ожидалось, одобрял: «Насчет детей — это вы хорошо».

Они были необходимы друг другу — Шостак, умевший «держаться дистанцию» даже в парной, и бунтарь Гребенников. Как два полюса одной батареи. Оба целиком принадлежали той, уходящей эпохе. Разрядилась батарея — вытек смысл...

Гребенников прямо говорил Шостаку, что ко всему, что не соответствует «нашим нормам» (в это изрядно скомпрометированное понятие он вкладывал, конечно свой строгий смысл), у него «одно отношение, одна позиция». Но ведь и Шостак не случайно «под занавес, словно замаливая грехи», решил вытащить на свет в лице Гребенникова «настоящего коммуниста». «С простым народом Шостак был всегда добр и ласков. Мог, следуя на своей «Чайке» в окружении «Вола» и «газиков» на какое-нибудь областное мероприятие вдруг вернуть на мелькнувшую в лесной прогалине ферму и, забыв про все, три часа беседовать с доярками, сразу и навсегда запоминая их имена и клички коров, беседовать только раз или два за все время на смешливо покосившись на местное руководство, боязливо перебирающее в него за спиной непривычными к долгому стоянию ногами». Другое дело, что «удой и привесы от этого не росли, сроки строительства не сокращались, деревня не молодела».

Бунтарь-то Гребенников бунтарь, да не зря он к Шостаку по-сыновнему снисходителен — тут ощущение кровного родства. Да, он за сильную социальную политику, за демократическое и гласное решение всех проблем. Но не парадокс ли, что первым практическим результатом его деятельности в районе становится кошмарный призрак, словно сошедший со страниц романа-антиутопии: угрюмая толпа у дверей магазина, а над ней из уличного репродуктора — плачущие женские и детские голоса. Ни выключить, ни разбить — высоко...

Так что не только цель осталась прежней, но и в методах наблюдается роковая преемственность. Главное, что роднит Гребенникова с Шостаком, — это твердая уверенность, что он сам, его рука, его вожди и, может быть, даже кнут народу прямо таки жизненно необходимы.

Гребенников считает, что нынешних обкомовских работников надо гнать в шею, и — к ним же за поддержкой. Срабатывает аппаратный инстинкт самосохранения. «Гнать, говорите, будут скоро нашего брата?» — шутливо подступает к нему Выскребенцев, а тот с подчеркнутой серьезностью отвечает: «Я говорю это только в стенах обкома!» Это можно понять и как признание в лояльности: мол, кого вы бьете, разве не видите, что я — свой? Ведь я же признаю, что на нашу аппаратную жизнь гласность не распространяется! И вражда у меня не к системе, а к отдельным личностям, систему-то я как раз и хочу реабилитировать, подвергнув ее некоторой чистке... Его уже никто не тянет за язык, но он усердствует и дальше: доносили-де на меня «что я будто бы где-то высказывался за две партии. Вот какие гадости приписывали». «Гадости?» — удивленно спрашивает Выскребенцев с некоторой возможно, иронией. «Гадости!» — твердо повторяет Гребенников.

Его не собьешь, не поймаете на слове, этого рыцаря «гласности» и «демократизации».

Гребенникову намекают, что хватит ходить по начальству с жалобами, что есть руководители которые сами находят выход из любого положения... Ах, эти мошенники, взяточники?! Ему предлагают другую работу — он грозит письмом в ЦК. Все по правилам игры, затеянной еще в стародавние времена, не подвергая сомнению высшую аппаратную справедливость. «Но ведь люди наверху — они в общем такие же, как и мы», — предупреждает Гребенникова пронизательный Выскребенцев. Из Москвы из КПК прибывает пенсионного возраста

Петр Фомич («повадка — необходимо покровительственная»), проверяет доклад, с которым Гребенников намерен выступить на районной партконференции. «Ого! Ты что же это? Обком критикуешь?.. Ну-ка, вычеркивай быстрее, ты же опять на удар нарываешься!» И строптивый Гребенников почему-то не спорит, вычеркивает, даже против «ты» не возражает. А уж ему ли не знать, что грубость и хамство (часто под видом «товарищеских» проработок) — питательная среда всех тех, с кем он как бы борется, что отъявленный хам вроде Однокопылова «может держаться на своей должности вечно, ничего, по существу, не делая и слывя волевым руководителем»... Что же заставляет Гребенникова на сей раз смириться: попытка выстоять, удержаться любой ценой, расправиться вначале руками Петра Фомича с местными кадрами, а потом, возможно, и за таких, как он, приняться? Или...

«Строго — потому что свято, свято — потому что строго» — эту мысль Гребенников вынашивает, правда, в другое время и в другом месте. Пока есть в партии хоть один человек, рассуждает он, который с трепетом приходит на заседание бюро, где «все безлично, строго и свято», где происходит «испытание личной партийной совести каждого отдельно взятого коммуниста общей партийной совестью», — до тех пор «можно быть спокойным за наше общество».

От этих слов веет чем-то зловеще-мистическим, встают за ними зарева воспаленных в чистоте помыслов костров. Мы вдруг начинаем понимать, что дай Гребенникову волю — и люди времена Шостака как золотой век станут поминать...

Все как бы переворачивается с ног на голову: не Гребенникова не понимают — он не желает понимать, не слышит других самых разных людей, разговаривая со всеми на каком-то допотопном языке. Сам сетует: «...разговор более-менее получается, пока не переводить его на принципиальную основу Перевел — и человек «молкает, отворачивается не то удивившись, не то обидевшись. Я не понимаю этих удивлений, я не понимаю этих обид!» Опытные аппаратчики оказываются не только хитрее, но и мудрее Гребенникова. Как ни омерзительен цинизм Вискребенцева, его двойной и даже тройной счет он к удивлению нашему начинает побеждать Гребенникова большей глубиной суждений, более широким кругозором. Такой например, происходит между ними диалог:

«— Вам не понятно, почему я с вами воюю, а не торгуюсь. (Это, конечно, Гребенников.— С. Я.)

— Не мне, — чуть поколебавшись, шепнул Вискребенцев. — Мне-то понятно...

— Ну, им.

— Да, они уже давно предпочитают торговаться. Я лично вижу в этом сдвиге не только минус».

Вискребенцев и пытается-то Гребенникова разговорами с единственной целью — добиться хотя бы признака живой мысли от этого жреца застывшей в первородной чистоте идеи. Опасается его, конечно (весьма характерно, что Гребенников, в свою очередь, считает разговоры Вискребенцева провокацией), и пытается, страшно рад, когда у того в ряду принципиально поставленных вопросов нечаянно прорывается: «Но я же человек! Мне больно, когда со мной несправедливо...» Именно в эту минуту Вискребенцеву чудится, будто они с Гребенниковым «наконец достигли взаимопонимания».

Шостака, Вискребенцев да и Крутась — при всем их несходстве между собой — объединены одним опытом, общей усталостью, в себе они давно примирились со своим поражением и с этим знанием на все взирают. (По мысли Вискребенцева, «меняется эта система не сверху и не снизу. Она меняется самой жизнью. Припирает — и меняется».) Один из них удручен под старость несопадением его довоенных «идеалов» с «жизнью», другой наблюдает исподтишка, что же из всего этого получится, чтобы, может быть, когда-нибудь нахотаться всласть над терзавшими его всю жизнь страхами, третий просто хапает напоследок побольше... И только Гребенников в своем фанатическом ослеплении пытается вдохнуть жизнь в мертвеца, гребует от тех же Шостака, Вискребенцева, Крутасы, чтобы они помогли ему восстановить истраченную батарею!

Могут ли они? Способен ли на это и сам Гребенников?

«Да тебя там одни пьяницы со света сживут, если твои гадюки тобой подавятся, — полусхрипывает ему старинная приятельница Зина Копылова. — И правильно, и хорошо, что сживут. Такие, как ты, что вы можете предложить стране? Какую программу действий? Кадры лучше подбирать?»

И как же Гребенников эту справедливую критику воспринимает? А вполне однозначно: как «антисоветские речи»!

Мы все гадаем: на каких внутривнутрипартийных дрожжах «культ личности» и прочие отступления от «наших норм» вырастали? Ка-

кими соображениями, какой словесной эквивалентом мыслимо было подкреплять все то, что совершалось? Да вот на таких и таких, весьма и весьма непорочными в своей основе.

Поддерживает ли Гребенникова население, те самые «низы», на которые он предполагал опереться в своих начинаниях? Вопрос непростой, А. Стреляный однозначного ответа на него не дает. С одной стороны, народ как будто выразил свою позицию тем, что не слишком сопротивлялся смещению Гребенникова. Но с другой — в каких легальных формах мог он проявить свое несогласие? А если еще учесть политическую индифферентность — наследие застоя, десятилетиями воспитывавшийся страх?.. Один вопрос вытягивает за собой другие со множеством неизвестных величин. Во всяком случае бабки из подъезда Гребенникову сочувствуют. Да еще доходят до Гребенникова стороной слухи, что трое, проголосовавшие против его смещения на пленуме райкома (когда уже вопрос был решен обкомом и голосовать полагалось только за), — рабочие. Но разве Зина Копылова не народ? А ведь была у Гребенникова и еще одна многозначительная встреча.

После изгнания из райкома он подыскивал себе работу, не желая числиться в номенклатуре. Предстал однажды перед директором техникума, «пожилым человеком в синем френче с отложным воротником», и решил выложить будущему начальнику всю свою историю. Наверное, вошли бы в его рассказ и великосветские забавы Саловой — Нееловой, и больничные листы предрика Попова, и преступная связь Однокопылова с Виблым. Затронул бы он, возможно, и популярную нынче тему о новоявленном классе бюрократов с его особыми экономическими интересами, противостоящими интересам рабочего класса (помните, как сталинская газета бюрократов бичевала?)... Да только директор не захотел слушать, перебил: «Не надо мне ничего этого рассказывать. Я жил до сих пор, не зная, что там, в ваших сферах, делается; так и дожить хочу: не зная».

В единственную реплику мелькнувшего на странице персонажа А. Стреляный сумел вложить судьбу нескольких поколений интеллигенции, не знающей, куда деваться от опрокинутых смыслов, от чудовищной жизни-перевертыша...

Соглашаются ли читатели с Гребеннико-

вым, осуждают ли его за слепоту, страшатся ли догматического упорства? Во всех случаях надо иметь в виду, что за его спиной ряды людей, у которых «все никак не проходит «шурум-бурум» в голове», — тех «седых юношей», кому в 60-х исполнилось двадцать. Среди них немало ярких личностей, стоявших у истоков перестройки. От их идейной раскованности и умственной широты в немалой степени будет зависеть, думаю, и дальнейший ее ход. Сегодня нам приходится наблюдать, как громадные духовные ресурсы людей расходятся на борьбу со схоластикой, засевавшей в них самих. Все сознательные члены нашего образованного, поголовно читающего и пишущего общества в той или иной мере растлены утратой смыслов, приучены оперировать словами-фантомами, словами-оборотнями. Такое общество представляет опасность — и для других, и прежде всего, конечно, для самого себя. В этом отношении «прогрессивное», «левое» охранительство гребенниковского типа видится мне даже более опасным, чем откровенное лакейство или тяга к застою: вынужденное прибегать ко все более изощренной «лжи во спасение», оно лишает нас последней надежды на перемены.

Отняв у Гребенникова веру, а затем ответив на его страдальческий вопрос словами собкора центральной газеты Полторака: «А зачем верить? При чем тут вера?» — автор, по сути, вынес этому явлению приговор. (Другое дело, что судьба Гребенникова-человека А. Стреляному безразлична, — иначе нам просто не о чем было бы здесь говорить.) Однако точка еще не поставлена. Не так давно в лаконичном интервью («Литературная газета» от 11 мая 1988 года) А. Стреляный сказал, что больше слова «перестройка» ему нравится понятие демократизация, тем самым еще раз привлекая внимание к выработке строгого и реалистичного языка, к тому факту, что за расплывчатыми многообещающими вывесками сплошь и рядом прячется старый хлам. Сумеет ли Гребенников, а вместе с ним значительная часть общества, действительно жаждущая перемен, отказаться от аппаратных ценностей, отвыкнуть от аппаратной логики, вернуться к нормальным человеческим словам? По крайней мере именно этому должна послужить очень ко времени явившаяся серьезная и ироничная повесть А. Стреляного.

Сергей ЯКОВЛЕВ.